

Хавьер Мариас
Дела твои, любовь

Javier Marías
Los enamoramientos

Хавьер Мариас
Дела твои, любовь
роман

Перевод с испанского
Надежды Мечтаевой



издательство **аст**

Москва

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)
М26

Фотография на обложке: *Elliott Erwitt/Manhattan Photos/Grinberg Agency*

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при содействии издательства АСТ

Мариас, Хавьер

М26 Дела твои, любовь : роман / ХАВЬЕР МАРИАС ; пер. с испанского Н. МЕЧТАЕВОЙ. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 416 с.

ISBN 978-5-271-46383-9 (ООО “Издательство АСТ”)

Хавьер Мариас — современный испанский писатель, литературовед, переводчик, член Испанской академии наук. Его книги переведены на десятки языков (по-русски выходили романы “Белое сердце”, “В час битвы завтра вспомни обо мне” и “Все души”) и удостоены крупнейших международных и национальных литературных наград. Так, лишь в 2011 году он получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, а его последнему роману “Дела твои, любовь” была присуждена Национальная премия Испании по литературе, от которой Х. Мариас по целому ряду веских причин отказался. Кроме того, этот же роман ведущими критиками страны был назван лучшей книгой года. Добавим, что Мариас — один из весьма немногих испаноязычных авторов, чьи произведения включены в серию *Modern Classics* издательства *Penguin Books* (наряду с текстами Гарсиа Лорки, Борхеса, Неруды, Гарсиа Маркеса и Октавио Паса).

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)

ISBN 978-5-271-46383-9 (ООО “Издательство АСТ”)

- © Javier Marias, 2011
- © Н. Мечтаева, перевод на русский язык, 2013
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
- © ООО “Издательство Астрель”, 2013
- Издательство CORPUS ®

*Мерседес Лопес-Бальестерос — за то, что
навещала меня, и за все, что мне рассказала.*

*Карме Лопес Меркадер — за то, что продол-
жает слушать меня и смеяться мне на ухо.*

В последний раз я видела Мигеля Десверна (или Девернэ) тогда же, когда его в последний раз видела жена, Луиса. Это странно и, наверное, несправедливо: ведь она жена, а я — всего лишь незнакомка, с которой он в жизни и словом не перемолвился и которая даже не знала, как его зовут. Его имя стало мне известно, когда было уже поздно, когда я увидела в газете его фотографию: израненного, в разорванной рубашке, умирающего и, скорее всего, уже не осознающего себя живым — он умер, так и не придя в сознание. Последнее, что он, должно быть, успел понять, было то, что на него напал какой-то человек — по ошибке и без всякой на то причины — и что этот человек наносит ему удары ножом — раз, другой и третий, — бьет безжалостно, словно хочет уничтожить его, стереть с лица земли раз и навсегда.

Для чего было поздно? На этот вопрос я ответить не могу. Но всегда, когда мы узнаем, что кто-то умер, первая мысль, которая приходит нам в голову, это мысль о том, что уже поздно для чего бы то ни было. И уж тем более поздно для того, чтобы этого человека ждать. И мы просто вычеркиваем его из списка. Даже если это очень близкий человек — хотя в этом случае нам приходится гораздо труднее, и мы оплакиваем умершего, и мысли о нем не отпускают нас ни на минуту, где бы мы ни находились, и нам еще долгое время кажется, что мы никогда не смиримся с потерей. И все же мы с самого начала — с того самого момента, когда узнаем, что человек умер, — знаем, что уже никогда ничего не будет. Даже самой малости — телефонного звонка, глупого вопроса (“Я здесь не оставлял ключей от машины?”. “Во сколько сегодня забирать детей?”). Ничего. Совсем ничего. Я не знаю, почему это происходит и как уживаются в нас точное знание того, что произошло, с неверием в случившееся, в то, что кто-то уже никогда не придет, никогда не произнесет ни слова, не сделает ни одного шага (ни для того, чтобы приблизиться к нам, ни для того, чтобы от нас отойти), не посмотрит на нас и не отведет глаз. Не знаю, почему в нас живет надежда, не могу понять, как мы в конце концов смиряемся и продолжаем жить. И даже иногда забываем о своей горе — потом, когда проходит время и отдаляет нас от тех, кого уже нет с нами, кто навсегда остался в прошлом.

Но я множество раз видела его, слышала его голос и смех — почти каждое утро на протяжении

нескольких последних лет. В не слишком ранний час — сказать правду, я всегда немного опаздывала на работу, чтобы не упустить возможности провести какое-то время поблизости от этой пары (не возле него, не поймите меня превратно, а возле них обоих: именно вместе они успокаивали меня, поднимали настроение перед долгим рабочим днем). Видеть их стало для меня почти обязанностью. Впрочем, “обязанность” — неподходящее слово для обозначения того, что приносит нам радость и дарует покой.

Возможно, это следовало бы назвать суеверной привычкой, хотя, скорее всего, дело не в том, что я верила, будто день сложится плохо, если я не позавтракаю с ними вместе (то есть на некотором расстоянии от них), а в том, что я точно знала: не встретившись с ними и не получив того заряда оптимизма, который они давали мне каждое утро, я приду на работу в худшем настроении. Видеть их — означало прикоснуться к упорядоченному миру или, если хотите, к миру гармоничному, крохотным кусочком которого они были и прикоснуться к которому выпадает немногим (как, впрочем, и к любому миру и любой жизни, даже если это жизнь публичного человека, даже если это жизнь, выставяемая напоказ). А потому, перед тем как отправиться на работу и провести несколько часов взаперти, мне очень хотелось увидеть их и понаблюдать за ними. Я не подглядывала, а лишь незаметно наблюдала: мне меньше всего хотелось их побеспокоить или заставить почувствовать себя неловко, и, конечно, было бы непростительно спугнуть их — я сама пострадала бы больше,

чем они. Мне довольно было дышать с ними одним воздухом, быть незаметной для глаза деталью интерьера, окружавшего их по утрам до той минуты, когда они расставались, чтобы снова встретиться, вероятнее всего, уже за ужином. В тот день, когда его жена и я виделись с ним в последний раз, они не смогли поужинать вместе. И даже пообедать не смогли. Она прождала его двадцать минут за столиком в ресторане, удивляясь тому, что он опаздывает, но не подозревая ничего дурного. А потом зазвонил телефон, и ее мир рухнул, и больше уже никогда она не ждала своего мужа.

В первый же раз, когда я их увидела, я поняла, что они муж и жена. Ему было около пятидесяти, она моложе — ей наверняка еще не было сорока. Больше всего мне в них нравилось то, что им явно было очень хорошо вдвоем. В час, когда почти никому не хочется не то что веселиться и смеяться, а вообще делать хоть что-нибудь, они без умолку болтали, шутили и подзуживали друг друга, словно только что встретились после долгой разлуки или даже только что познакомились, а не вышли совсем недавно вместе из дома и не отвезли вместе детей в школу. И словно не приводили себя в порядок, собираясь на работу в одно и то же время (и, возможно, даже в одной и той же ванной комнате). А еще раньше они проснулись в одной постели, и первое, что он увидел, едва открыв глаза, была Луиса, а первое, что увидела она, был ее муж — и так день за днем уже много лет, потому что их дети, которых я видела

пару раз, когда они приходили вместе с родителями, были уже большие: девочке лет восемь, а мальчику, очень похожему на отца, года четыре.

Он одевался чуть-чуть старомодно, но лишь чуть-чуть: никогда не выглядел смешно или нелепо. Он носил костюмы, к которым были тщательно подобраны сшитая на заказ рубашка с запонками на манжетах и дорогой галстук сдержанных тонов, из кармана пиджака выглядывал кончик платка. Черные ботинки на шнурках (только в конце весны, под светлый костюм, он надевал замшевую обувь) всегда начищены до блеска, руки ухожены. Несмотря на все это, он выглядел очень естественно и не был похож ни на чопорного большого начальника, ни на записного пижона — скорее, он был похож на человека, которому воспитание не позволяет выйти на улицу одетым по-другому. По меньшей мере в рабочие дни. Казалось, его отец когда-то объяснил ему, что, начиная с определенного возраста, нужно одеваться именно так: не зависеть от моды, которая то и дело меняется, не обращать внимания на нравы нынешнего времени, когда все ходят как оборванцы.

Он не позволял себе ни малейшего отклонения от классического стиля, а потому, хотя и не хотел казаться оригиналом, все-таки казался им, по крайней мере, в том кафе, где я его всегда встречала, да и вообще в нашем давно забывшем об условностях городе. Он выглядел естественно еще и потому, что был человеком приветливым, улыбчивым и общительным — о таких говорят “свойский” (к слову, он никогда не был таким с официантами, к которым

всегда обращался на “Вы” и с подчеркнутой любезностью, но без притворности). Он то и дело смеялся — громко и заразительно, не вызывая при этом раздражения у окружающих. Он умел смеяться, смех его был искренним. Он смеялся не потому, что хотел угодить собеседнику или из снисхождения к нему: он словно благодарил за доставленное удовольствие — он был душевно щедрым человеком, способным оценить юмор и порадоваться чьей-то удачной шутке. Возможно, он смеялся так в ответ на шутки жены: есть люди, которые заставляют нас смеяться, сами того не замечая. Это удастся им главным образом потому, что мы счастливы уже одним их присутствием и рады расхохотаться по поводу и без повода просто оттого, что эти люди рядом, что мы видим и слышим их, даже если они не говорят ничего особенного и даже если в их речах больше глупого, чем смешного, — нам все равно нравится. Эти двое, казалось, были друг для друга именно такими людьми, и хотя было ясно, что они давно женаты, я ни разу не услышала в их разговорах ни одной фальшивой или слащавой ноты, не заметила ни одного заученного жеста, какие часто можно наблюдать у супружеских пар, которые, прожив вместе много лет, стремятся показать всем, что по-прежнему любят друг друга, словно это заслуга, за которую их следует уважать, или украшение, которое делает их привлекательнее. Эти же двое, казалось, хотели понравиться друг другу, словно им еще только предстояло ухаживание и сближение. А может быть, они так любили и так ценили друг друга еще до того, как поженились, и даже еще до того, как

стали встречаться, и так продолжали любить и ценить друг друга все эти годы, что в любых обстоятельствах он выбрал бы ее, а она его — в компаньоны, в друзья, в собеседники, в соучастники. Не потому что они супруги, не из удобства, не по привычке, не даже из взаимной преданности, а лишь потому, что были уверены: что бы ни случилось, что бы ни произошло, что ни потребовалось бы рассказать или выслушать, ей с ним, а ему с ней будет всегда интереснее, чем с кем бы то ни было еще. Ему ни с кем не будет лучше, чем с ней, а ей ни с кем не будет лучше, чем с ним. Они были друзьями, а главное — между ними было взаимопонимание.

У Мигеля Десверна (или Девернэ) были очень приятные черты лица, а глаза смотрели так по-мужски доброжелательно, что он сразу располагал к себе. Я ловила себя на мысли, что перед его обаянием трудно устоять. Наверное, сначала я обратила внимание именно на него, или благодаря ему я обратила внимание и на Луису, потому что, если ее мне не раз довелось видеть одну — муж почти всегда уходил раньше, а она еще на некоторое время задерживалась, чтобы выкурить сигарету или поболтать с кем-нибудь (случалось, что, когда он уже собирался покинуть кафе, появлялась или какая-нибудь подружка Луисы, или кто-нибудь с ее работы, или мамыши, чьи дети учились в той же школе, куда ходили и дети Десвернов), — то его без жены я не видела ни разу. Я не могу представить его одного, он для меня не существовал сам по себе, рядом с ним обязательно должна была

находиться жена (это была одна из причин, по которым я не сразу узнала его на фотографии в газете: там не было Луисы), но заинтересовали (если можно так сказать) меня они оба. И сразу.

У Десверна были коротко стриженные густые и очень темные волосы (лишь на висках, где они слегка курчавились, — возможно, если бы он отпустил бакенбарды, эти бакенбарды вились бы кольцами, — видна была легкая проседь), взгляд был живой, пронизательный и веселый. Когда он слушал, глаза его становились чуть по-детски наивными — это были глаза человека, которому интересно жить и который не намерен упускать ни одного из тех любопытных или забавных моментов, какими полна жизнь, даже когда мы столкнулись с трудностями, даже если случилось несчастье. Впрочем, мне кажется, что трудностей и несчастий на его долю выпало не слишком много, иначе вряд ли бы он сохранил такие доверчивые и веселые глаза.

Эти серые глаза, казалось, замечали каждую мелочь, с живым интересом оглядывая даже то, что они видели каждый день: помещение того кафе в начале улицы Принсипе-де-Вегара, официантов, мою безмолвную фигуру — словно все вокруг было для них новым и неизведанным.

У него была ямочка на подбородке. Когда я смотрела на нее, то вспоминала эпизод из старого фильма, где актриса, касаясь указательным пальцем такого же углубления на подбородке у Роберта Митчема, Гари Гранта или Кирка Дугласа (уже не помню, у кого именно), спрашивала, как ему удается так чисто выбривать это место. Мне тоже каждое

утро хотелось встать из-за своего столика, приблизиться к Девернэ, задать ему тот же вопрос и так же осторожно коснуться пальцем — указательным или большим — его подбородка. Он всегда был очень тщательно выбрит. И ямочка тоже.

Они обращали на меня гораздо меньше внимания, чем я на них. Во сто крат меньше. Заказывали завтрак у стойки и уносили его на свой столик — обычно у большого окна, выходящего на улицу. Я всегда выбирала место в глубине зала — подальше от них. Весной и летом, когда часть столиков выносили на улицу, мы садились там, и официанты передавали заказы через окно рядом с барной стойкой, из-за чего посетителям приходилось по нескольку раз подниматься и проходить между столиками, а потому чаще оказываться в поле зрения друг друга. И Десверн, и Луиса не раз встречались со мной взглядом (всегда лишь на мгновение), и в их взглядах не было ничего, кроме любопытства, — никакого намерения, никакого желания сделать следующий шаг. Он ни разу не посмотрел на меня заинтересованно, осуждающе или пренебрежительно (я бы в нем сразу разочаровалась!), в ее глазах я тоже ни разу не заметила недоверия, превосходства или холодности и была этому очень рада: мне было бы неприятно прочесть что-то подобное в ее взгляде.

Они оба мне нравились. Нравились вместе. Нет-нет, я им не завидовала: просто, глядя на них, я с облегчением убеждалась, что в реальной жизни возможно существование того, что я назвала бы идеальной парой. И особенно это меня радовало потому, что Луиса совсем не походила на Десверна.

Она была одного роста с мужем, смуглая, с очень темными каштановыми волосами.

Рядом с женщиной, одетым согласно классическим канонам, всегда ожидаешь увидеть женщину, одетую в том же элегантном — юбка, почти всегда туфли на высоком каблуке, — хотя и необязательно слишком строгим (в одежде от Селин, к примеру, или в со вкусом подобранных броских украшениях) стиле. Она же одевалась то в спортивном стиле, то еще в каком-то, которому я не смогла бы дать четкого определения: это был ее собственный стиль — непринужденный, свободный и уж никак не классический.

К брюкам (чаще всего она приходила в джинсах), она надевала куртку и ботинки или туфли без каблука, а к юбке — обычные лодочки на среднем каблуке, почти такие же, какие носили многие женщины в пятидесятые годы. Летом она ходила в очень легких сандалиях, открывавших изящные и слишком маленькие для ее роста ступни. Я ни разу не видела на ней украшений. Она носила сумки на длинном ремне и почти не пользовалась косметикой. Она была такой же открытой и обаятельной, как и он, так же весело и заразительно (хотя и намного тише) смеялась, обнажая в улыбке белоснежные зубы. В лице ее появлялось при этом что-то детское — наверное, она научилась так смеяться года в четыре и с тех пор смеялась так всегда, а может быть, дело было в том, что от смеха у нее округлялись щеки.

Эти двое, казалось, взяли за правило давать себе маленькую передышку, возможность побыть вместе, после того как закончится утренняя спешка, обычная для всех семей, где есть маленькие дети, и пе-

ред тем как отправиться на работу. Маленькая пауза, время только для них: чтобы насмотреться друг на друга, чтобы наговориться от души, чтобы в ежедневной суете не порвалась связующая их нить.

Мне всегда было интересно, о чем они говорят, что рассказывают друг другу? И почему каждый из них всегда находит что рассказать тому, с кем вместе ложится и встает и о ком наверняка знает все до мелочей: что тот делает, что думает, чего хочет?

Я не слышала их разговоров, до моего слуха доносились лишь отрывочные фразы или отдельные слова. Однажды я услышала, как он назвал ее принцессой.

Одним словом, я от души желала им счастья, как героям романа или фильма, которым читатель или зритель с самого начала сочувствует, зная, что с ними непременно приключится что-нибудь плохое и круто изменит их судьбу — иначе не было бы ни романа, ни фильма. Но в жизни несчастью случаться необязательно, и я надеялась и впредь продолжать встречать их каждое утро такими, какими они были, надеялась, что никогда не придет день, когда им больше нечего будет сказать друг другу, когда в голосе одного из них (или, может быть, даже в голосах их обоих) зазвучит упрек и раздражение, а в глазах появится равнодушие, когда им перестанет быть интересно и весело вместе, когда они будут спешить поскорее расстаться.

Незамысловатая, но милая сердцу сцена, которую я наблюдала каждое утро, перед тем как отправиться в издательство, чтобы снова начать борьбу со страдающим манией величия шефом и с зану-

дами писателями, поднимала мой дух. Если Луиса и Десверн несколько дней не появлялись, я скучала по ним и начинала рабочий день в гораздо худшем настроении. В некотором смысле я была в долгу перед ними — сами о том не догадываясь, они день за днем помогали мне. И позволяли фантазировать, представлять себе их жизнь, которая виделась мне настолько счастливой и безмятежной, что я была даже рада, что никогда не смогу узнать, так ли все обстоит на самом деле: некого было об этом спросить, а значит, некому было разрушить очарование (к тому же мою собственную жизнь безмятежной назвать было нельзя, так что, едва выйдя из кафе, я забывала об “идеальной паре” и вспоминала о ней лишь на следующее утро, когда ехала в автобусе, проклиная свою работу, из-за которой приходится так рано вставать). Я была бы рада предложить им взамен что-нибудь равноценное, но это был не тот случай. Я была им не нужна — как, впрочем, наверное, и никто другой, — я была почти невидимкой. Лишь дважды, собираясь уходить и уже поцеловав на прощанье жену (Луиса при этом всегда вставала и отвечала на его поцелуй стоя) и помахав рукой официантам у стойки, Десверн кивнул и в мою сторону — едва заметный жест, легкий наклон головы, — словно я тоже была одной из официанток. Его наблюдательная жена тоже дважды (и в те же самые дни, что и ее муж) кивнула мне, когда я уходила (как всегда, после того как ушел он и до того как ушла она). Но всякий раз, когда я хотела кивнуть в ответ — пусть даже еще менее заметно, чем они, — и Десверн, и Луиса уже успевали отвести взгляд.